
ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Повесть

ГЛАВА 1

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус, — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но база эта была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконеч понизу и фасонно изогнутыми поверху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал закопанный в подземелье взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутав-

шись сигаретным дымом, дергалось, елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошнина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», — хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса ругаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плита пустила в коридор щель серого, унылого света: на улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-то!

Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, давила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая это болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся: в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью. Сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Если чай? Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездой и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег

пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством не изведенного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что, это усвоил. Накрепко. Навсегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет тому назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стряется, если не сократят план и тэ дэ, и тэ пэ. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печтаетесь, хотя и нечасто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — ми-ли-цейская!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих, проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гёте: «Унеррайхбар ви дер химвель». Высоко и недоступно, как небо.

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сыроквасова в суетности жизни спутала Гёте с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказы — мякина, мякина с обмолоченного зерна. А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющая, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под

которым красовались рисунки ее гениальных детей, мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините. — Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон: — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.

— Пенсию? В сорок лет?!

— Мне сорок два, Октябрина Перфильевна.

— Какой это возраст для женщины? — Как и всякое вечно раздраженное существо женского рода, Сыроквасова спохватилась, завяляла хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полшутливую доверительность.

Но Сошнин не принял перемен в ее тоне, раскланялся, выбрел в полутемный коридор.

— Я подержу дверь открытой, чтобы вы не убились! — крикнула вслед Сыроквасова.

Сошнин ей не ответил, вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. Искрошены они скачущими рукосуями, будто ржаные пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и те-

плеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотой, ну а к боли в ноге он как будто привык, пожалуй что просто примирился с нею.

«Может, еще выпить? Нет, не надо, — решил он, — давно не занимался этим делом, еще захмелею...»

Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Гололедица притормозила не только движение, но и самую жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей, сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчанием мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать погоде медленно, загустело едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно вяло шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты; одна лишь тревога, одна забота: как дальше жить?

Ему было совершенно ясно: в милиции он отслужил, отвоевался. Навсегда! Привычная линия, накатанная, однопутная — истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям, — разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое «в железнодорожника», оборвалась. Рельсы кончились, шпалы, их связующие, кончились, дальше никакого направления, никакого пути нет, дальше вся земля, сразу, за тупиком, — иди во все стороны, или вертись на месте, или сядь на последнюю в тупике, истрескавшуюся от времени, уже и не липкую от пропитки, выветренную шпалу и, погрузившись в раздумье,

дремли иль ори во весь голос: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одинокому...»

Как на свете жить одинокому? Трудно на свете жить без привычной службы, без работы, даже без казенной амуниции и столовой, надо даже об одежонке и еде хлопотать, где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть.

Но не это, не это главное, главное — как быть да жить среди народа, который делился долгое время на преступный мир и непроступный мир. Преступный, он все же привычен и однолик, а этот? Каков он в пестроте своей, в скопище, суете и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков нрав? «Братцы! Возьмите меня! Пустите к себе!» — хотелось закричать Сошнину сперва вроде бы в шутку, поерничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружилась, подступила вплотную житуха, будни ее, ах, какие они, будни-то, у людей будничные.

Сошнин хотел зайти на рынок, купить яблок, но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге: «Добро пожаловать» корячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозвищу Урна. За беззубый, черный и грязный рот получила прозвище, уже и не женщина, какое-то обособленное существо со слепой, полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у нее семья, муж, дети, пела она в самодеятельности железнодорожного ДК под Мордасову — все пропила, все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике-распределителе УВД, который в народе зовется «бичевником», а в старые грубые времена звался тюрьмой для бродяг, не держали, из вырезвителя гнали, в дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь на вид. Вела она себя в общественных местах срамно, стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовом. С Урной невозможно и нечем бороться, она хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках, не умирала и не замерзала.

А-ах, мой вессе-олай смех
Всегда имел успех... —

хрипло орала Урна, и моросью, стылой пространственностью не вбирало ее голоса, природа как бы отделяла, отталкивала от себя свое исчадь. Сошнин прошел рынок и Урну стороной. Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной, серой планеты произошло оживление, слышались говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина.

По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее, по проспекту Мира, по самой его середке, по белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее, изредка охлестываясь мокрым, форсисто подстриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокала подковами, как модница импортными сапожками, по самой что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь, и сбруя на ней были прибраны, ухожены, животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам.

Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал вслед коняге реплики: «Наладила от скупого хозяина!», «Сама пошла сдаваться на колбасу», «Не-е, в вытрезвитель — там теплей, нежели в конюшне», «Ничего подобного! Идет докладывать супружнице Лаври-казака насчет его местонахождения»...

Сошнин тоже заулыбался из-под воротника, проводил лошадь взглядом — она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода Лавря Казаков, в народе — Лавря-казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, кавалер трех орденов Славы и еще многих боевых орденов и медалей, развез по «точкам» сидро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной «точке» — в буфете Сазонтьевской бани — потолковать о прошлых боевых походах, о современных го-

родских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков, лошадь же разумную свою, чтоб не мокло и не дрогло животное под небом, пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, все коренные жители Вейска знали: где стоит пивзаводская телега, там ведет беседы и отдыхает Лавря-казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, все понимает и пропасть себе не даст.

Вот уж и сместилось что-то в душе, и погода дурная не так уж гнетуща, порешил Сошнин, привыкнуть пора — родился здесь, в гнилом углу России. А посещение издательства? Разговор с Сыроквасовой? Да шут с ней! Ну, дура! Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти — первая, наивная, шибко замученная подражательностью, да и устарела она за пять лет. Следующую надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сыроквасовой; может, и в самой Москве...

Сошнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу, если это скорбно зажмуренное, иссиня-голое существо, прямо из шеи которого, казалось, торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная! Однако и это не предмет для досады. Супу вермишельного сварит, хлебнет горяченького и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда, под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — не забыть бы завести, — под шлепанье дождя полтора-два часа почитает всласть, потом соснет и на всю ночь за стол — творить. Ну, творить не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданном мире.

Жил Сошнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме под номером семь, который забыли снести, после забытые узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам, — построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту, с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашиком над входом,